

Николай Стэф



ID Null. Ошибка
протокола - 2



Николай Стэф

ID Null. Ошибка протокола-2

<https://litres.ru/74459279>

SelfPub; 2026

Аннотация

Что делать, когда твой мир умирает, а ты — лишь программный код, обретший плоть в чужом, биосинтетическом теле?

Калем, бывший NPC с F-рангом навыка, а ныне — биосинтетический голем, просыпается в разрушенном мегаполисе реального мира, где человечество пало жертвой вируса, а природа поглотила руины. Его родной игровой мир Эрата медленно угасает: серверы деградируют, игроки исчезли сотни лет назад, а без них система не может существовать. Единственный шанс на спасение — найти уцелевшие технологии, починить сервер и вернуть в Эрату жизнь.

Но реальный мир враждебен. Мутанты, кислотные дожди, радиация и вечная тьма поджидают на каждом шагу. Калем отправляется в опасное путешествие по руинам погибшей цивилизации. Впереди — заброшенный мир, кишачий чудовищами, и тайна, способная изменить судьбу обоих миров.

Он не герой. Не избранный. Но именно ему предстоит спасти всех, кого он любит.

«Это только начало новой Эры».

Николай Стэф

ID Null. Ошибка протокола-2

Глава 1

Ворота дата-центра захлопнулись за спиной Калема с гулом, похожим на вздох умирающего гиганта.

Звук прокатился по пустым улицам, отразился от обрушенных стен и растворился в вязкой тишине мёртвого города. Калем замер, позволяя этому звуку впитаться в аудиосенсоры — словно прощаясь с последним местом, где ещё теплилась хоть какая-то видимость жизни.

Дата-центр остался позади. Тёмная громада бетона и ржавеющей стали, наполовину поглощённая землёй. Сама планета пыталась похоронить его заживо — и не смогла.

Калем сделал первый шаг. И тут же его пронзила боль.

Не настоящая — фантомная. Его нейроинтерфейс биосинтетического тела, давно научился интерпретировать механические сбои как физическую агонию. Каждый шаг отдавался в суставах резкой болью, и система услужливо выводила перед мысленным взором строки диагностических отчётов:

СИСТЕМА БИОСИНТЕТИЧЕСКОГО ТЕЛА

СТАТУС: КРИТИЧЕСКИЙ

БАТАРЕИ: 9% (КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Девять процентов.

Калем смотрел на эти цифры, и что-то внутри него — не процессор, не нейроинтерфейс, а что-то более глубокое, человеческое — сжималось от холода. Девять процентов отделили его от полного отключения. От тьмы. От конца.

Он поднял взгляд.

Перед ним простирался мёртвый мегаполис.

Небоскрёбы, обвитые плющом, тянулись к серому небу, словно скелеты древних богов, павших в битве, о которой уже никто не помнил. Их стеклянные фасады давно осыпались миллионами осколков, усеявших улицы внизу сверкающей, но мёртвой мозаикой. То, что осталось от некогда зеркальных поверхностей, теперь напоминало глаза мертвецов — мутные, потрескавшиеся, отражающие лишь серое ничто.

Плющ — тёмно-зелёный, почти чёрный в этом вечном сумраке — обвивал каждый небоскрёб от основания до самых верхних этажей. Лианы толщиной с человеческую руку свисали с балконов, раскачиваясь от ветра, как щупальца гигантских осьминогов, затаившихся в ожидании добычи. Кое-где растения прорвались сквозь бетонные перекрытия, разорвав их, как бумагу, и теперь торчали из зданий, словно кости, пробившие гниющую плоть.

Небо давило сверху. Серое. Тяжёлое. Неподвижное. Ни солнца, ни луны, ни звёзд — только бесконечная пелена

облаков. Иногда сквозь неё пробивались крошечные лучи света — тусклые, пыльные, они казались скорее призраками солнца, чем самим солнцем. Эти лучи падали на землю, освещая маленькие пятачки среди всеобщего мрака, и в этих пятнах можно было разглядеть остатки прежнего мира — обломки машин, вывески магазинов, детские игрушки, забытые на тротуарах.

Калем знал: бывают в этом месте и солнечные дни. Природа за столько лет не могла не восстановиться. Она восстановилась — превратив это место, некогда населённое людьми, в новый мир для новых хозяев.

Улицы, некогда бурлившие жизнью, теперь представляли собой русла заросших джунглей, пробившихся сквозь асфальт.

Деревья — настоящие деревья, не те жалкие посадки, что украшали городские парки до Катастрофы — выросли прямо посреди дорог. Их корни взломали асфальт, разорвали его на куски, превратив гладкие магистрали в хаотичные нагромождения бетонных глыб и переплетённых корней. Калем видел дуб, выросший прямо из крыши автобуса, — его ствол пробил ржавый металл и теперь тянулся вверх, к серому небу, раскинув ветви над мёртвой улицей.

Кустарники заполнили пространство между деревьями, создав непроходимые заросли там, где когда-то спешили люди. Высокая трава — сочная, ярко-зелёная, странно живая в этом мире смерти — покрывала всё, что осталось от тротуа-

ров. Она колыхалась от ветра, и в этом движении было что-то гипнотическое, почти успокаивающее.

Калем поймал себя на мысли, что смотрит на неё слишком долго. Заставил себя отвести взгляд.

Не время для созерцания. Не сейчас.

Воздух был густым, влажным и пропитанным запахом гнили, перемешанным с запахом цемента от разрушающихся медленно стен домов.

Влажность была почти осязаемой. Она оседала на его металлических конечностях каплями воды, стекала по потёртой краске, проникала в микротрещины. Калем знал, что это плохо — влага убивала электронику быстрее, чем что-либо ещё. Но он ничего не мог с этим поделать. Его тело было открытой раной, и этот мир медленно, но верно залечивал её своим собственным способом — ржавчиной, коррозией, разрушением.

Калем сделал шаг, и его бионическая нога глухо стукнула по выбоине, наполненной мутной водой.

Звук был странным — металл о бетон, приглушённый слоем воды и грязи. Вода брызнула в стороны, и Калем увидел своё отражение в её мутной поверхности — искажённое, дрожащее, но всё же узнаваемое.

Отражение смотрело на него пустыми глазами. Оптические сенсоры — два тусклых огонька в глубине глазниц — слабо мерцали, словно свечи на ветру. Калем поднял руку — механическую, покрытую царапинами и вмятинами, с

пальцами, которые когда-то были идеально гладкими, а теперь напоминали ржавые инструменты. Отражение повторило движение с задержкой в долю секунды.

Лёгкая задержка. Ещё один признак того, что система работала на пределе.

Его роботизированное тело едва держалось на ногах от истощения заряда. Каждое движение требовало усилий — не физических, потому что его мышцы были из стали и полимеров, а энергетических. Батареи, которые когда-то питали его тело столетиями, теперь разряжались намного быстрее. Каждый шаг, каждое движение руки, каждый поворот головы — всё это съедало драгоценные проценты заряда, которые таяли, как снег под дождём.

Калем остановился, чтобы перевести дыхание — рефлекс, оставшийся от человеческой жизни, потому что его биосинтетическое тело не нуждалось в кислороде. Но этот рефлекс помогал ему думать. Помогал собраться. Помогал не паниковать.

Перед его глазами вспыхнули диагностические сообщения.

Он видел их не глазами — они проецировались прямо на сетчатку его оптических сенсоров, полупрозрачные строки текста, плывущие в воздухе, как призраки. Система его биосинтетического тела работала автоматически, без его участия, и это было одновременно благословением и проклятием.

СИСТЕМА БИОСИНТЕТИЧЕСКОГО ТЕЛА

СТАТУС: КРИТИЧЕСКИЙ

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 47 лет 3 месяца 12 дней (активный режим)

ВРЕМЯ В РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ: 362 года 8 месяцев 5 дней

ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ:

— ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР: 67% (перегрев, требуется охлаждение)

— НЕЙРОИНТЕРФЕЙС: 89% (незначительные сбои в передаче сигналов)

— ОПТИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ: 72% (повреждение левого сенсора, 34% потеря поля зрения)

— АУДИОСЕНСОРЫ: 81% (фоновый шум, снижение чувствительности)

— СЕРВОПРИВОДЫ: 54% (критический износ, требуется смазка и замена)

— ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 43% (утечка в правой ноге, потеря давления)

— БАТАРЕИ: 9% (КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

— СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ: 12% (неактивна, недостаточно энергии)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ

ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРПУСА: 47%

НЕОБХОДИМОСТЬ СРОЧНОГО РЕМОНТА

РЕКОМЕНДАЦИЯ: НЕМЕДЛЕННЫЙ ПОИСК ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

Калем смотрел на эти строки, и что-то внутри него сжималось от холода.

Девять процентов.

Триста двенадцать лет в режиме экономии энергии — тело лежало неподвижно, как труп, поддерживая лишь минимальные функции. А потом он проснулся. И начал использовать тело. И теперь... теперь он должен решить и эту проблему.

В груди красиво пульсировал слабый синий огонёк — остаток энергии.

Калем опустил взгляд, и сквозь прозрачную панель на груди увидел его — крошечный источник света, пульсирующий в такт его искусственному сердцу. Синий. Холодный. Умиравший. Когда-то этот огонь, вероятно, был ярким, как звезда, — он освещал всё вокруг, отбрасывал тени на стены, заставлял людей оборачиваться. Теперь он едва мерцал, как светлячок, пойманный в банку.

Огонёк пульсировал медленно. Слишком медленно. Каждый импульс был слабее предыдущего, и Калем знал, что это значит. Батареи разряжались. Не линейно — экспоненциально. Чем меньше оставалось заряда, тем быстрее он уходил. Девять процентов. Через час будет восемь. Через два —

шесть. Через четыре — ноль.

Ноль означал конец. Не смерть — смерть была чем-то человеческим, чем-то, что случалось с людьми из плоти и крови. Для Калема ноль означал отключение. Полное. Необратимое. Его сознание, его память, его миссия — всё это исчезнет, как будто никогда не существовало. Он станет просто куском металла и пластика, ржавеющим на улице мёртвого города.

Калем подвигал пальцами. Сервоприводы в пальцах скрипнули — резко, болезненно, словно кости, трущиеся друг о друга. Он посмотрел на свои руки. Металл. Полимеры. Провода. Это были инструменты. Инструменты, которые медленно изнашивались.

— Ладно, — прошептал Калем, и его искажённый биосинтетический голос прозвучал странно в мёртвой тишине. — Ладно. Думай. Ты ещё думаешь. Значит, ты ещё жив.

Он поднял голову и посмотрел на город.

Нужно срочно искать источник энергии для подзарядки.

Без подзарядки его миссия по спасению его родного игрового мира Эрата обречена на провал.

Эрат.

Калем закрыл глаза — оптические сенсоры на мгновение погасли, и тьма стала полной. Эрат. Мир, который он помнил. Мир, который он любил. Мир, который он поклялся спасти.

Он видел его так ясно, словно это было вчера. Зелёные

холмы, покрытые цветами. Города, полные жизни — не такой, как этот мёртвый мегаполис, а настоящей, яркой, бьющей через край. Люди — его друзья, его семья, его... всё. Эрат был не просто игровым миром. Для Калема он был домом. Единственным домом, который у него остался.

И этот дом умирал.

Когда Катастрофа случилась — когда серверы начали отказывать, когда данные начали теряться, когда целые миры начали исчезать один за другим — Калем был там. Он видел, как Эрат деградировал. Как небо потемнело, как земля задрожала, как люди начали испытывать приступы тишины.

Он не мог этого допустить. Не мог позволить своему миру исчезнуть. И поэтому он согласился на это — на перенос сознания в биосинтетическое тело, на миссию в реальном мире, на поиск запчастей для сервера. Он знал, что это опасно. Знал, что может не вернуться. Но это был единственный шанс.

И теперь этот шанс таял вместе с зарядом его батарей.

План дальнейших действий был простой. Сохранить игровой мир Эрата, в котором жили все родные Калема, где был его дом. Для этого найти запчасти для ремонта сервера, а также по возможности найти новые биосинтетические тела. Заменить сломанные части. Вернуться в свой мир.

Просто. Ясно. Невозможно.

Калем знал, что план звучит безумно. Найти запчасти для сервера в мире, который сам разрушался сотни лет? Найти

новые биосинтетические тела, когда он был, возможно, последним существом в этом городе? Вернуться в мир, который существовал только в цифровой форме?

Но у него не было выбора. План был простым, потому что сложный план он не смог бы выполнить. У него не было ресурсов, не было времени, не было сил. У него было только это — простая цель и отчаянная решимость.

Лучше всего для этих целей подходил научный комплекс, координаты которого у него были. Но он был довольно далеко. Слишком далеко для его текущего уровня заряда. Поэтому Калем решил, что вдруг ему повезёт и он найдёт что-то полезное поближе.

И он решил начать с ближайшей цели, которую нашёл на сервере.

Склад.

Калем прокрутил в памяти данные, которые извлёк из дата-центра. Склад — технологическое оборудование — находился всего в нескольких кварталах отсюда. Это было близко. Достаточно близко, чтобы он мог дойти. Достаточно близко, чтобы надеяться.

На складе ведь должно было остаться что-то ценное и полезное. Вдруг он там найдёт сразу всё, что ему нужно. Тем более склад был для технологического оборудования.

Там могли быть батареи. Могли быть запчасти. Могли быть инструменты. Могло быть... всё. Или ничего. Но это был шанс. Единственный шанс, который у него был.

Калем представил себе это место — тёмное здание, забитое стеллажами с оборудованием, покрытое пылью и паутиной. Он представил, как находит там батареи — свежие, заряженные, готовые к использованию. Он представил, как подключает их к своему телу, как синий огонь в его груди вспыхивает ярче, как энергия наполняет его системы.

Это была фантазия. Он знал, что это фантазия. Но иногда фантазия — это единственное, что помогает двигаться вперёд.

Он поднял взгляд к небу, где сквозь листву пробивались крошечные лучи солнца, и вспомнил голос старика Элдриса, наставлявшего перед этой миссией по спасению мира.

«Никогда не сдавайся, даже когда земля уходит из-под ног», — шептал этот голос в его памяти.

Элдрис. Старик, который стал для Калема больше, чем наставником. Больше, чем другом. Он был... отцом. Не по крови — по духу. Он научил Калема всему, что тот знал. Научил его мыслить, выживать. Научил его любить Эрат и его людей, несмотря ни на что. Научил его не сдаваться.

Калем помнил его лицо — морщинистое, доброе, с глазами, которые видели слишком много, но всё ещё улыбались. Помнил его голос — хриплый, тихий, но полный силы.

Его не было сейчас рядом, но его голос остался. В памяти Калема. В его сердце — если у биосинтетического тела могло быть сердце.

«Никогда не сдавайся, даже когда земля уходит из-под

ног».

Калем чувствовал, как эти слова отдаются в его процессоре, в его нейроинтерфейсе, в каждой цепи его тела. Он чувствовал, как они зажигают что-то внутри него — не энергию, потому что энергия была на исходе, а решимость. Волю. Желание жить.

Калем понимал, что у него нет права сдаться.

Он почувствовал, как сервоприводы в пальцах скрипнули от напряжения или микросбоя — это было не важно. Боль была просто сигналом. Ошибкой. Данными. Он мог её игнорировать. Мог её отключить. Мог её преодолеть.

— Я справлюсь, — сказал он сам себе, и его голос звучал твёрдо. — Я дойду до склада. Я найду энергию. Я почищу сервер. Я вернусь в Эрат.

Он сделал шаг. Потом ещё один. Потом ещё.

Он уверенно направился вперёд, в сердце мёртвого города.

Улицы тянулись перед ним длинной вереницей. Калем шёл медленно, но уверенно. Каждый шаг был борьбой — с гравитацией, с изношенными сервоприводами, с усталостью, которая была не физической, а цифровой. Его ноги — механические, покрытые вмятинами и царапинами — ступали по разбитому асфальту, по ковру из мха и травы, по обломкам прошлого.

Он видел машины — ржавые, разбитые, покрытые растениями. Когда-то они были символами скорости и свободы.

Теперь они были просто металлоломом, памятниками ушедшей эпохе. Калем прошёл мимо автобуса, в котором когда-то ехали люди. Теперь в нём жили птицы — он слышал их щебетание внутри, видел гнёзда на сиденьях. Жизнь продолжалась. Просто не та, которую он знал.

Он видел магазины — с разбитыми витринами, с вывесками, на которых ещё можно было разобрать слова. «Продукты». «Одежда». «Электроника». Слова, которые когда-то означали что-то. Теперь они были просто символами на мёртвом языке.

Но он также видел жизнь.

Трава, пробивающаяся сквозь асфальт. Деревья, растущие из руин. Птицы, летающие над мёртвым городом. Животные, прячущиеся в зарослях. Жизнь находила путь. Всегда находила.

Калем подумал о том, что, может быть, и он — часть этой жизни. Не человеческой — человечество, возможно, закончилось. Но жизни. Нового мира. Мира, который родился из пепла старого.

Калем остановился на перекрёстке.

Перед ним простирались три улицы — три пути. Налево — к складу. Направо — к научному комплексу. Прямо — в неизвестность.

Он проверил координаты. Склад был налево. Близко. Дотягаемо.

Калем повернул налево и пошёл дальше.

Его синий огонь пульсировал в груди — слабый, но живой. Девять процентов. Восемь с половиной. Восемь.

Время уходило.

Но Калем шёл.

Улица, по которой он шёл, была когда-то главной артерией этого района. Теперь это была просто тропа через джунгли.

Калем видел следы животных на земле — отпечатки копыт, лап, когтей. Он слышал звуки — шорох листьев, пение птиц, далёкий вой. Он чувствовал запахи — земля, растения, гниль, что-то ещё, что-то живое.

Он активировал тепловой сканер, но ничего не обнаружил. Животные знали, как прятаться. Они выжили там, где люди не смогли.

Калем подумал о том, что он тоже животное — в каком-то смысле. Существо, борющееся за выживание. Существо, которое не сдаётся.

Он тоже не сдавался.

Он шёл.

СИСТЕМА БИОСИНТЕТИЧЕСКОГО ТЕЛА

БАТАРЕИ: 8.7%

РЕКОМЕНДАЦИЯ: НЕМЕДЛЕННЫЙ ПОИСК ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

БЛИЖАЙШИЙ ИСТОЧНИК: СКЛАД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (КООРДИНАТЫ: 47.3912, 8.5401)

РАССТОЯНИЕ: 1.2 КМ

ВРЕМЯ В ПУТИ (ПРИ ТЕКУЩЕЙ СКОРОСТИ): 47 МИ-
НУТ

ПРОГНОЗ ЗАРЯДА ПО ПРИБЫТИИ: 6.1%

Шесть процентов. Этого хватит на то, чтобы дойти. Но не
хватит на то, чтобы вернуться.

Калем ускорил шаг.

Он не оглядывался.

Глава 2

С каждым шагом по разбитой мостовой Калем всё глубже погружался в водоворот воспоминаний, которые никак не хотели отпускать его разум.

Это было странное ощущение — идти по старому заброшенному городу и одновременно существовать в двух временах, в двух жизнях, в двух телах. Его бионические ноги механически переступали через трещины и выбоины, автопилот двигательной системы вёл его вперёд, а сознание... сознание блуждало в лабиринтах чужой памяти.

Тем более его собственные воспоминания, после синхронизации с новым телом, теперь переплелись с воспоминаниями игрока Z1R0. Это было очень странное чувство, он как будто прожил сразу две жизни. Или, точнее, полторы — потому что жизнь Z1R0 оборвалась слишком рано, слишком внезапно, оставив после себя лишь фрагменты, осколки, эхо.

Калем не знал, кем был Z1R0 в реальном мире до конца. Он знал только то, что сохранилось в данных — обрывки мыслей, фрагменты эмоций, куски воспоминаний. Но этого было достаточно, чтобы понять: Z1R0 был человеком.

Последние мысли Z1R0 были о том, как спастись от неминуемой смерти от вируса, против которого люди не нашли лекарства.

Калем видел эти мысли — не как слова, а как образы, как ощущения, как вспышки чужого сознания, вплетённые в его собственное. Он видел врачей в воспоминаниях этого человека, как они выступают с экранов телевизора и говорят:

«Мы ничего не можем сделать».

«Вирус мутирует слишком быстро».

«У нас нет времени».

Z1R0 лежал дома у виртуальной капсулы, и его тело умирало.

Но Z1R0 не сдавался.

Калем чувствовал это — отчаянную, почти безумную решимость, которая горела в угасающем сознании игрока. Z1R0 не хотел умирать. Не хотел исчезнуть. Не хотел стать ещё одним именем в списке жертв. И поэтому он искал выход. Любой выход. Даже самый безумный.

Мысли были о том, что нужно успеть протестировать биосинтетическое тело в игровом мире Эрата, так как игра идеально подходила для этих целей.

Калем видел в воспоминаниях, как Z1R0 узнал об Эрате,

самой подходящей для его целей игре. Как узнал о переносе сознания. Статья о нейроинтерфейсах нового поколения, о биосинтетических телах, о возможности переноса сознания.

Z1R0 читал эту статью, и в его угасающем сознании заглась искра. Не надежда — надежда была слишком слабым словом. Что-то большее. Что-то отчаянное. Что-то безумное.

Так же были мысли о сожалении, что он всё-таки не успел завершить то, что хотел.

Калем чувствовал это сожаление — горькое, тяжёлое, как свинец в груди. Z1R0 не успел. Он не успел протестировать тело. Не успел перенести сознание. Не успел... жить.

Вирус оказался быстрее. Вирус всегда был быстрее.

Калем видел последние минуты Z1R0 — не как воспоминание, а как кошмар, который невозможно забыть. Он видел, как к этому человеку подкрадывается тьма — медленно поднимающаяся, поглощающая всё, неотвратимая.

Z1R0 умер зная, что его тело — его настоящее тело — умрёт, но его сознание... его сознание могло жить. Если бы у него было больше времени. Если бы у него был шанс.

Но времени не было. Шанса не было. Была только тьма.

И всё же — даже в этой тьме — Z1R0 успел что-то сделать. Он успел загрузить свои воспоминания, свои навыки, свои знания в систему. Он успел создать то, что позже стало частью Калема. Он успел оставить след.

Калем был ему благодарен за эти воспоминания. За эти

навыки. За этот шанс.

Но Калем был ему благодарен и за эти, пусть и горькие, воспоминания, так как он с ними получил и представление об этом мире, и технические навыки, которые ему очень помогут.

Это была странная благодарность — благодарность мёртвому человеку, которого он никогда не знал. Но Калем чувствовал её всем своим существом. Z1R0 дал ему то, чего у него не было. Понимание ситуации. Надежду. Инструменты.

Калем знал теперь, как работают машины этого мира. Знал, как читать схемы, как чинить устройства, как взламывать системы. Знал, как ориентироваться в этом мире. Знал, как выживать.

Это было... полезно. Более чем полезно. Это было необходимо.

Но всё равно, когда он закрывал свои механические глаза, он снова оказывался маленьким мальчиком, у которого был только один навык — по созданию големов, — которого толкали в грязь и смеялись над его неполноценностью.

Это было его собственное воспоминание. Не Z1R0. Его.

Калем видел себя — маленького, тощего, с большими глазами и дрожащими руками. Он стоял на площади своей деревни — в мире Эрата, который всегда был его домом. Вокруг него были другие дети — сильные, уверенные, с навыками, которые делали их полезными. Воины. Маги. Лекари. Ремесленники.

А Калем... Калем умел создавать големов.

Это был странный навык. Редкий. Бесполезный, как считали многие. Големы были медлительными, неуклюжими, слабыми. Они не могли сражаться, как воины. Не могли лечить, как маги. Не могли строить, как ремесленники. Они были... никем.

Как и он.

Калем помнил, как его толкали в грязь. Как смеялись над ним. Как называли его «калекой», «бесполезным», «ошибкой природы». Он помнил, как лежал в грязи, глядя в небо, и чувствовал, как что-то внутри него ломается. Что-то важное. Что-то человеческое.

Он помнил, как создал своего первого голема — маленького, неуклюжего, сделанного из глины и палок. Он вложил в него всю свою боль, всё своё отчаяние, всю свою надежду.

Калем помнил, как плакал тогда. Плакал от радости, от облегчения, от чего-то, что не мог назвать. Потому что впервые в жизни он создал что-то, понял, чем он может быть полезен.

Но это не изменило ничего. Дети всё равно смеялись. Взрослые всё равно смотрели с жалостью. Мир всё равно считал его никем.

Но Калем... Калем продолжал создавать големов. Одного за другим. Снова и снова. Потому что это было единственное, что он умел. Единственное, что давало ему смысл.

Теперь, спустя годы, он снова чувствовал себя калекой, но

на этот раз его тело было сломанным механизмом, он сам был тем, кого раньше создавал.

Калем открыл глаза — оптические сенсоры вспыхнули, возвращая его в реальность. Он посмотрел на свои руки — металлические, покрытые царапинами и вмятинами, с пальцами, которые когда-то были идеально гладкими, а теперь напоминали ржавые инструменты.

Он был големом.

Эта мысль ударила его, как удар током. Он был тем, кого создавал. Тем, кем управлял. Тем, кто был просто инструментом.

Калем вспомнил своих големов — их пустые глаза, их медленные движения, их безмолвное подчинение. Он вспомнил, как заставлял их работать, как использовал их, как... не думал о них как о живых существах. Потому что они не были живыми. Они были машинами. Инструментами. Вещами.

Теперь он был такой же вещью.

Его тело не было его телом. Оно было создано в лаборатории, собрано из деталей, запрограммировано для выполнения задач. Его сознание не было его сознанием — оно было загружено, скопировано, синтезировано. Его жизнь не была его жизнью — она была одолжена, украдена, унаследована.

Калем чувствовал, как что-то внутри него сжимается — не механическое, а человеческое. Что-то, что было Калемом из Эрата. Что-то, что помнило грязь на лице и смех детей. Что-то, что знало, каково это — быть никем.

Он был калекой тогда. Он был калекой сейчас.

Но тогда у него была надежда. Надежда, что однажды он станет сильнее. Что однажды его навык — его единственный навык — окажется полезным. Что однажды он найдёт своё место в мире.

И он нашёл. Он стал сильным. Он стал уверенным. Он стал... собой.

А потом он оказался здесь.

Ирония судьбы не давала ему покоя: в своём мире он только-только обрёл силу и уверенность, как оказался в мире игроков, где вновь оказался беспомощным.

Калем усмехнулся — горько, безрадостно. Это был смех человека, который видел слишком много, чтобы ещё чему-то удивляться. Смех существа, которое знало, что вселенная имеет чувство юмора. И это чувство юмора было жестоким.

В Эрате он был кем-то. Не великим героем, не легендой, не спасителем мира. Но кем-то. Он создавал големов — сначала слабых и неуклюжих, потом всё более сложных, всё более мощных. Он научился вкладывать в них не только глину и палки, части доспехов, но и магию, и душу, и жизнь.

Он обрёл силу. Обрёл уверенность. Обрёл... себя.

И теперь он был здесь. В мире игроков. В мире, где он снова был никем.

Ветер шевелил лианы, свисавшие с обломков зданий, и шум листвы напоминал шёпот давно ушедших людей.

Калем остановился на мгновение, прислушиваясь. Это

была как тихая музыка, заставляющая задуматься над хрупкостью бытия. Листья — миллионы листьев — шелестели, шептали, пели. Они говорили на языке, который Калем не понимал, но чувствовал. Языке ветра и времени.

Он смотрел на лианы — толстые, зелёные, живые — которые свисали с обломков зданий, как волосы утопленниц. Они раскачивались от ветра, и в этом движении было что-то гипнотическое, почти медитативное. Калем чувствовал, как его системы замедляются, как его процессор работает спокойнее, как его тело расслабляется.

Это было опасно. Он не мог позволить себе расслабиться. Не сейчас. Не здесь.

Но всё же... на мгновение он позволил себе просто стоять. Просто слушать. Просто чувствовать.

Ветер нёс запахи — земли, растений, гнили, дыма. Он нёс звуки — шорох листьев, пение птиц, далёкий гул. Он нёс... что-то ещё. Что-то, что Калем не мог назвать. Что-то, что напоминало ему о доме.

Он закрыл глаза — оптические сенсоры погасли — и позволил себе вспомнить. Эрат. Зелёные холмы. Голубое небо. Тёплый ветер. Люди, которые улыбались ему. Люди, которых он любил.

Он вспомнил Элдриса — его морщинистое лицо, его добрые глаза, его хриплый голос. Он вспомнил, как Элдрис учил его создавать големов. Как терпеливо объяснял, как показывал, как верил в него.

«Ты особенный, Калем, — говорил Элдрис. — Твой навык — не проклятие. Это дар. Однажды ты поймёшь это».

Калем не понимал тогда в полной мере его слов. Но теперь... теперь, может быть, начинал понимать.

Калем остановился у разрушенной школы, где на стене ещё сохранились детские рисунки, выцветшие от времени и дождя.

Это было старое здание — кирпичное, трёхэтажное, с обвалившейся крышей и разбитыми окнами. Но стена — одна стена — всё ещё стояла. И на этой стене были рисунки.

Калем подошёл ближе, и его оптические сенсоры сканировали изображения. Солнце — жёлтое, улыбающееся. Дом — с трубой и дверью. Семья — мама, папа, ребёнок, держащиеся за руки. Кошка — с большими глазами и длинным хвостом. Цветы — красные, синие, жёлтые.

Детские рисунки. Простые, наивные, полные надежды.

Калем провёл металлическими пальцами по изображению солнца и улыбающегося лица. Краска была старой, выцветшей, но всё ещё держалась на стене. Как будто дети, которые рисовали это, всё ещё были здесь. Как будто их надежды всё ещё жили.

В груди Калема вспыхнула тоска — острая, болезненная, человеческая. Тоска по тому миру, который он поклялся спасти. По миру, где дети тоже рисовали солнце на стенах. По миру, где был дом. По миру, где была жизнь.

— Я вернусь, — прошептал он пустоте.

Его голос — искажённый биосинтетическим телом, металлический, синтезированный — разнёсся по пустым классам. Он отразился от стен, от разбитых окон, от обвалившегося потолка. Он прозвучал... странно. Как будто это был не его голос. Как будто это был голос кого-то другого. Кого-то, кто умер давно.

Но это был его голос. Его слова. Его клятва.

Калем убрал руку от стены. Он смотрел на рисунки ещё мгновение — на солнце, на дом, на семью, на кошку, на цветы. Потом он отвернулся.

Прошлое было прошлым. Он не мог вернуться туда. Но он мог идти вперёд. К складу. К цели. К будущему.

Он отвернулся от прошлого и двинулся дальше, к складу, где, по найденным им данным, хранились детали для разных устройств. Вдруг ему тоже там повезёт.

Калем шёл по улице, и его шаги отдавались эхом в пустоте. Он смотрел на карту — проекцию, которая висела перед его глазами, полупрозрачная, светящаяся. Склад был отмечен красной точкой. Он был близко. Два километра. Может, меньше.

Глава 3

Склад представлял собой огромный бетонный куб, половина которого обрушилась под натиском вздувшихся корней гигантских деревьев.

Калем остановился в тени разрушенной стены и посмотрел на него — на то, что осталось от здания. Это был не просто склад. Это был монумент. Памятник эпохе, которая закончилась так давно, что даже память о ней стерлась, как краска со стен.

Бетон — серый, покрытый трещинами, как кожа древнего старика — был испещрён глубокими бороздами. Корни — толстые, как стволы молодых деревьев, — прорвались сквозь фундамент, взломали пол, поднялись по стенам. Они обвиняли здание, как щупальца гигантского осьминога, сжимая его в медленных, но неумолимых объятиях. Кое-где корни разорвали бетон на куски, и эти куски — огромные, тяжёлые — лежали вокруг, как кости, вырванные из тела.

Калем стоял и смотрел. Его оптические сенсоры фиксировали каждую деталь, каждый скол, каждую трещину, каждый корень — но не для того, чтобы запомнить. Для того, чтобы понять. Чтобы почувствовать масштаб. Чтобы осознать и сравнить с теми воспоминаниями, которые попали в его голову. Как много времени прошло с тех пор, как люди уходили отсюда с накладными, грузили коробки в грузовики, курили на крыльце, ругались из-за сорванных сроков. Всё это исчезло.

Крыша обрушилась очень давно. Калем видел небо сквозь дыры — серое, тяжёлое, давящее, как свинцовая плита, положенная на плечи мира. Внутри здания, там, где когда-то был потолок, теперь росли деревья. Настоящие деревья —

дубы, клёны, что-то ещё, чего Калем не мог определить по силуэтам, — проросли сквозь пол и тянулись вверх, к свету, которого не было. Их ветви переплетались, создавая подобие нового потолка — зелёного, живого, дышащего. Листья — тёмные, влажные, покрытые каплями — шелестели от ветра, который проникал сквозь разрушенные стены. Шелест был мягким, почти ласковым — единственный звук в этом царстве камня и мха, который не вызывал тревоги.

Стены — те, что ещё стояли — были покрыты мхом. Толстым, мягким, тёмно-зелёным. Мох заполнил каждую трещину, каждую щель, каждую впадину. Он рос на бетоне, как опухоль — медленно, но неумолимо, сутки за сутками, год за годом, десятилетие за десятилетием, превращая камень в почву, а почву — в жизнь.

Он видел окна — точнее, то, что от них осталось. Пустые глазницы, забитые грязью и листьями. Кое-где сохранились рамы — ржавые, искорёженные, но всё ещё держащиеся, как выбитые зубы в челюсти мертвеца. В одной из них Калем увидел гнездо — большое, сделанное из веток и травы, сплетённое с обрывками пластика и кусочками проволоки. Птицы. Жизнь. Везде жизнь.

Но не та жизнь, которую он хотел бы увидеть.

Рядом со складом стояли ржавые грузовики, превратившиеся в гнёзда для диких огромных птиц, чьи крики разрывали тишину.

Калем посмотрел на них — на грузовики, на птиц, на то,

что от них осталось. Это были большие машины — когда-то блестящие, мощные, способные перевозить тонны груза по трассам, которые давно превратились в тропы, заросшие кустарником.

Но они были живыми. В них жили птицы.

Калем видел их — огромных, чёрных, с размахом крыльев, который, казалось, был больше, чем у любого существа, которое он знал. Они сидели на грузовиках, на крышах, на ветвях деревьев. Они смотрели на него — или, может быть, не на него, а просто в пространство — своими жёлтыми глазами, в которых не было ничего человеческого. Ничего знакомого. Ничего, что Калем мог бы узнать или назвать.

Их крики — резкие, пронзительные, — разрывали тишину, как ножом. Калем слышал их, когда они пролетали высоко над ним — тёмные силуэты на сером небе, похожие на призраков, на клочки тьмы, оторванные ветром. Он видел их тени, скользящие по земле — огромные, быстрые, как тени облаков, но более резкие, более чёткие, более хищные. Он чувствовал их присущность — холодное, чужое, опасное. От этих огромных птиц нужно было держаться подальше.

Калем знал это. Знал инстинктивно — как знал бы любой человек, оказавшийся в мире, где он был не на вершине пищевой цепи. Эти птицы были не просто птицами. Они были хищниками. Они были хозяевами этого места. Внешними хозяевами — теми, кто приходит после того, как прежние хозяева уходят. Теми, кто занимает опустевший трон.

Он вспомнил, как видел одну из них — близко, слишком близко. Это было несколько часов назад, когда он только вышел из дата-центра, и его сенсоры ещё не успели адаптироваться к этому миру — к его запахам, звукам, свету. Птица сидела на обломке стены и смотрела на него.

Он тогда замер. Не двинулся. Не дышал — хотя его тело не нуждалось в дыхании. Просто стоял и смотрел, как птица смотрит на него. И ждал.

Птица не напала. Не в этот раз. Она просто смотрела — оценивала, может быть. Или ждала, когда он сделает ошибку. Когда он покажет слабость. Когда он потеряет бдительность хотя бы на секунду. Хищники терпеливы. Хищники умеют ждать. Калем это знал — знал из воспоминаний Z1R0, из фильмов, из книг. Хищник никогда не торопится. Хищник ждёт, пока добыча сама не придёт к нему.

Потом она улетела — тяжело, медленно, с шумом, который эхом разнёсся по улицам, отскакивая от стен пустых зданий. Калем смотрел, как она поднимается в небо — чёрный силуэт на сером фоне, — и чувствовал, как что-то внутри него сжимается. Страх.

Теперь он снова видел их. И знал, что нужно быть осторожным.

Калем очень тихо, насколько позволяло его биосинтетическое тело, старался прокрасться мимо них незаметно.

Это было трудно. Очень трудно. Его тело — металлическое, тяжёлое, неуклюжее — было создано не для скрытно-

сти, а для выживания. Его ноги стучали по земле, его сервоприводы скрипели, его системы охлаждения гудели тонким, но постоянным звуком, который в тишине этого мёртвого мира казался оглушительным. Каждый шаг был как удар молота по наковальне — громкий, заметный, опасный.

Но Калем старался. Он двигался медленно, осторожно, выбирая каждый шаг, каждый миллиметр поверхности, на которую ставил ногу. Он пригибался, когда мог, прятался за обломками, за кустами, за стволами деревьев, за ржавыми остовами машин, которых здесь было много — целое кладбище техники, поглощённое растительностью. Он отключал второстепенные системы — охлаждение, освещение, даже часть сенсоров, — чтобы уменьшить шум. Он становился тише. Медленнее. Меньше. Он уменьшал себя до минимума, до точки, до тени.

Птицы не замечали его. Или, может быть, замечали, но не считали угрозой. Они продолжали сидеть на грузовиках, чистить перья, кричать. Их крики — резкие, пронзительные — разносились по округе, заглушая все другие звуки, все другие голоса, всё остальное. Калем использовал это — их шум как прикрытие для своего. Когда они кричали, он двигался. Когда замолкали — замирал. Он синхронизировал свои движения с их голосами, как музыкант синхронизирует свою игру с ритмом оркестра. Только оркестр здесь был хищным, а музыка — криками существ, которые могли бы убить его.

Он прошёл мимо первого грузовика — ржавого, покры-

того мхом, с гнездом на крыше. Птица — огромная, чёрная — сидела в гнезде и смотрела на него. Калем замер. Птица моргнула. Калем сделал шаг — когда крикнула другая, далеко, за складом. Птица отвернулась.

Он прошёл мимо второго грузовика. Мимо третьего. Мимо четвёртого. Каждый раз — замирая, ожидая, двигаясь дальше. Энергия уходила. Но он не мог позволить себе спешить. Спешка означала шум. Шум означал внимание. Внимание означало смерть — или что-то похуже, потому что Калем не был уверен, что эти птицы убивали быстро.

Между третьим и четвёртым грузовиком он остановился — не потому что хотел, а потому что должен был. Его левый коленный сустав — тот, который уже скрипел с тех пор, как он покинул дата-центр, — издал звук. Громкий. Слишком громкий. Металлический лязг, который прозвучал, как выстрел в тишине.

Калем застыл. Одна из птиц — та, что сидела на четвёртом грузовике, самая большая из всех, что он видел, — повернула голову. Медленно. Точно. Как камера наблюдения, наводящаяся на цель. Её жёлтые глаза — яркие, немигающие — нашли его.

Калем не двигался. Не дышал. Не мигал — хотя мог. Он стоял, как статуя, как обломок, как часть пейзажа. Его процессор работал на пределе, просчитывая вероятности. Если птица нападёт — у него есть примерно полторы секунды до контакта. Бегство — бессмысленно, она быстрее. Драка —

бессмысленно, она сильнее. Прятаться — поздно. Оставалось только одно: стоять и ждать.

Птица смотрела на него три секунды. Или три часа. Или три вечности — Калем не мог сказать, потому что его внутренние часы словно остановились, и время перестало течь ровно, стало вязким, тягучим, как мёд.

Потом птица отвернулась. Расправила крылья — огромные, тёмные, как плащ, — и закричала. Не на него. В небо. В пустоту. Может быть, другому существу. Может быть, самой себе.

Калем двинулся дальше. Его колено больше не скрипело — или он не слышал этого за грохотом собственного сердца, искусственного сердца, которое билось в его груди, как метроном, отсчитывая секунды, которые могли быть его последними.

Вдруг он замер, уловив странное шевеление в тени контейнеров, а потом запах.

Калем остановился. Его тело — всё его тело — напряглось. Сервоприводы сжались, готовые к движению. Оптические сенсоры расширились, захватывая больше света. Аудиосенсоры обострились, фильтруя фоновый шум, выделяя из какофонии птичьих криков и шелеста листьев... что-то.

Шевеление. Слабое. Едва заметное. Но реальное. Что-то двигалось в тени — там, где стояли контейнеры. Большие, металлические, покрытые ржавчиной, стоящие в ряд, как

солдаты на параде — мёртвые, пустые, но всё ещё стоящие. Между ними — в узком пространстве, в полосе тьмы, куда не проникал свет, — что-то шевелилось. Что-то живое.

А потом Калем почувствовал запах.

Это был не просто запах. Это был удар. Волна. Цунами, которое накрыло его сенсоры, как физическая сила — тяжёлая, густая, всеобъемлющая. Запах заполнил всё пространство, вытеснил все другие запахи — мха, ржавчины, гнили, прелых листьев, — и стал единственным, что существовало. Единственным, что имело значение.

Сначала Калем подумал, что его всё-таки заметили и теперь ему точно конец.

Эта мысль — холодная, резкая, как удар тока — пронзила его процессор. Птицы. Они заметили его. Они увидели его. Они летят к нему — огромные, чёрные, с клювами, как кинжалы, с когтями, как серпы. Они убьют его. Разорвут на куски. Оставят только металл и провода, разбросанные по земле, — останки существа, которое пыталось пройти мимо них и не смогло.

Калем активировал боевой режим — насколько мог. Его руки сжались в кулаки. Его ноги напряглись, готовые к бегу или к прыжку. Его процессор работал на пределе, просчитывая варианты — бежать, драться, прятаться. Сотни сценариев в секунду, каждый с вероятностью, каждый с исходом. Он знал, что не может драться — не с ними. Знал, что не может бежать — не от них. Но он должен был попробовать.

Должен был. Потому что сдача не была вариантом. Сдача не была частью его кода.

Он повернул голову — медленно, осторожно, на миллиметр за раз — и посмотрел на птиц. Они всё ещё сидели на грузовиках. Они не двигались. Они не смотрели на него. Они просто... были. Сидели. Чистили перья. Кричали в небо. Они не нападали. Они не заметили его. Или, может быть, заметили, но не считали угрозой. Он был слишком мал. Слишком слаб. Слишком... неважен. Не добыча. Не враг. Просто объект. Фон. Часть пейзажа.

Но тогда что это было? Что двигалось в тени? Что издавало этот запах?

Но это оказалась другая опасность.

Калем понял это мгновенно — так, как понимал вещи, которые нельзя объяснить словами. Не логикой — чем-то более глубоким, более древним, более первобытным. Запах был неправильным. Не просто гниль и ржавчина — хотя и это было там, в глубине, как фон, как основа, как басовая нота в симфонии разложения. Нет. Это было что-то живое. Что-то мутировавшее. Что-то опасное. Запах был... органическим. Животным. Хищным. Он напоминал запах дикого зверя — но усиленный, умноженный, искажённый, как отражение в кривом зеркале, где всё пропорции нарушены, и всё знакомое становится чужим. Как будто животное, которое издавало этот запах, было не просто животным. Как будто оно было чем-то большим. Чем-то худшим.

Калем знал этот запах. Не из своей жизни в Эрате — там не было таких существ, там были свои монстры, свои твари, свои кошмары, но они были другими. Они были созданы кодом, а не эволюцией. Из воспоминаний Z1R0.

Он прислонился к холодной стене и заглянул за угол, где увидел странные следы на земле: огромные, трёхпалые, с глубокими царапинами когтей.

Калем прижался к стене — холодной, влажной, покрытой мхом, который под его весом сминался и выделял влагу, как губка. Он чувствовал, как вода проникает в его корпус, в щели между пластинами, в суставы, в проводку. Влага — враг электроники. Но сейчас это было неважно. Сейчас важнее было то, что за углом.

Он заглянул — медленно, осторожно, используя только один оптический сенсор, отключив второй, чтобы уменьшить заметность. Его поле зрения сузилось, но этого было достаточно.

Следы.

Они были на земле — отпечатаны в мягкой грязи, которая покрывала бетон, слой за слоем, нанесённая дождями и ветрами за десятилетия. Они были огромными — каждый след был размером с его торс, тридцать-сорок сантиметров в длину. Три пальца — длинные, толстые, с когтями, которые оставили глубокие борозды в земле, как плуг оставляет борозды в поле. Когти были острыми — очень острыми, явно острыми — они резали грязь, как нож режет масло, и даже

на отпечатке Калем мог видеть их контуры — чёткие, ясные, пугающе идеальные.

Калем смотрел на эти следы, и его процессор работал на пределе, анализируя, сравнивая, вычисляя, сопоставляя с базами данных, которые Z1R0 оставил ему в наследство. Три пальца. Огромные. С когтями. Это не птица. Птицы имеют четыре пальца — три впереди, один сзади, для хватания, для посадки на ветки. Это не птица.

Это что-то другое. Что-то, что ходит на двух ногах — потому что следы были парными, один за другим, как у человека, левая-правая, левая-правая, с равными промежутками. Что-то большое — очень большое, больше человека, может быть, в два-три раза. Что-то тяжёлое — потому что следы были глубокими, вдавленными в землю на несколько сантиметров, и это при том, что грязь здесь была плотной, слежавшейся. Что-то опасное — потому что когти были острыми, а запах — неправильным, и всё в этих следах говорило: не подходи. Уходи. Беги.

Калем посмотрел на следы ещё мгновение, а потом перевёл взгляд дальше. Следы вели к складу. К тому самому складу, куда он шёл. Они исчезали в темноте входа — приоткрытого, тёмного, как пасть зверя, как проход в иной мир, как дверь, которую лучше не открывать.

Это явно были следы не птиц, а кого-то ещё, кто тоже обитал поблизости.

Калем выпрямился — медленно, осторожно, стараясь не

шуметь, сгибаясь и разгибаясь, как механизм, которому нужна смазка. Его процессор просчитывал варианты. Он мог уйти. Мог найти другой склад, другой путь, другую дорогу к научному комплексу, к цели, ради которой он прошёл через столько.

Но он также знал, что не может уйти. Не сейчас. Не после того, как нашёл это место. Не после того, как увидел следы. Потому что если это существо — что бы это ни было — живёт здесь, то оно, вероятно, охраняет что-то. Что-то ценное. Что-то, что ему нужно — энергия, запчасти, данные, всё, что могло помочь ему дойти до цели.

Или, может быть, оно просто живёт здесь. Просто существует. Просто... есть. Как мох на бетоне. Как деревья в крыше. Как птицы на грузовиках. Просто ещё одна форма жизни, которая заняла место, оставленное людьми.

Калем не знал. Но он знал, что должен войти. Должен попробовать. Должен найти то, за чем пришёл. Потому что альтернатива — стоять здесь, ждать, пока батареи разрядятся, пока сенсоры погаснут, пока сознание угаснет — была хуже любой опасности. Хуже когтей. Хуже зубов.

Сердце его бионического тела забилося чаще, хотя механический орган и не мог испытывать страха в привычном смысле.

Это было странное ощущение — странное и новое, и старое одновременно. Калем чувствовал, как его искусственное сердце — насос, который гнал охлаждающую жидкость

по его системам, по трубкам и каналам, заменявшим ему вены, — начинает биться быстрее. Как его процессор ускоряется, обрабатывая больше данных, чем обычно, чем нужно, чем безопасно. Как его сенсоры обостряются, захватывая каждую деталь, каждый звук, каждый запах, каждый отблеск света в тени.

Это был страх. Не человеческий страх — потому что его тело не могло бояться так, как боялось человеческое тело. Не было адреналина, не было дрожащих рук, не было пота на ладонях, не было желания бежать, забившись в угол и закрыв глаза. Но было что-то похожее. Что-то, что занимало то же место, что занимал страх в человеческом теле. Что-то, что заставляло его системы работать на пределе. Что-то, что готовило его к опасности — к встрече, к столкновению, к чему-то, чего он не мог предвидеть.

Калем знал, что это иррационально. Его тело не могло чувствовать страх. Его процессор не мог испытывать эмоции. Он был машиной. Системой. Кодом. Но он чувствовал. Чувствовал что-то. Что-то, что было страхом, но не было им. Что-то, что было инстинктом, но не было им. Что-то, что не помещалось ни в одну категорию, ни в одну классификацию, ни в один алгоритм.

Может быть, это была память. Память о том, как он был человеком — не Калем, а Z1R0. Память о том, как его тело — настоящее тело из плоти и крови — боялось. Память о том, как адреналин тек по венам, как сердце колотилось

в груди, как ноги готовы были бежать, как руки дрожали, как горло сжималось. Память, которая была не его памятью, но которая жила в нём, как пересаженный орган, как чужое сердце, которое бьётся в его груди.

Может быть, это была память Z1R0 о том, как он умирал — медленно, мучительно, неизбежно. Память о том, как вирус пожирал его изнутри, клетка за клеткой, орган за органом. Как тело отказывало, часть за частью, система за системой. Как тьма подступала — не резко, не сразу, а постепенно, как прилив, как ночь, как сон, от которого не просыпаешься.

Может быть, это было что-то другое. Что-то, что Калем не мог назвать. Что-то, что было глубже памяти. Глубже кода. Глубже всего, что он мог проанализировать или понять. Что-то, что было не в его данных, а в нём самом — в том, что делало его им, а не просто машиной.

Он не знал. Но он знал, что это чувство — страх или что-то похожее — было полезным. Оно заставляло его быть осторожным. Быть внимательным. Быть живым. И это было странно — быть живым и знать это. Быть живым и бояться. Быть живым и не понимать, что значит быть живым.

Калем улыбнулся, как смог. Он вспомнил, что в мире Эраты он создавал големов для защиты деревень, и теперь ему предстояло стать своим собственным големом.

Эта мысль — горькая, ироничная, но в то же время странно успокаивающая — заставила его улыбнуться. Или, точнее, его лицо имитировало улыбку — мышцы, сервоприво-

ды, искусственная кожа, натянутая на металлический каркас, — всё это пришло в движение, создавая выражение, которое должно было означать радость, или иронию, или обе вещи одновременно. Рефлекс, оставшийся от человеческой жизни, от жизни, которой у него никогда не было. Жест, который не имел смысла — потому что его никто не видел, потому что здесь не было никого, кто мог бы понять улыбку, — но который он сделал, потому что не мог не сделать.

Он вспомнил своих гогов. Металлических — быстрых, блестящих, опасных, как мечи. Он создавал их для защиты. Для работы. Для войны. Он вкладывал в них свою магию — или то, что называлось магией в мире Эраты, — свою душу, свою жизнь, свою волю. Он заставлял их двигаться, сражаться, умирать. Он был их создателем. Их хозяином. Их богом — маленьким, локальным, но богом.

Теперь он был одним из них.

Его тело — металлическое, искусственное, созданное в лаборатории людьми, которых он никогда не знал, — было телом гогола. Его сознание — загруженное, скопированное, синтезированное из осколков чужой личности — было сознанием гогола. Его жизнь — одолженная, украденная, унаследованная от того, кто умер, — была жизнью гогола.

Он был гоголом. Своим собственным гоголом. Гоголом, который создал сам себя — не руками, не магией, а фактом своего существования. Гоголом без создателя.

И, как любой гогол, он должен был защищать. Должен

был сражаться. Должен был выполнить свою задачу. Даже если это означало смерть — если то, что с ним произойдёт, когда батареи разрядятся, когда процессор остановится, когда сознание погаснет, можно назвать смертью. Даже если это означало конец — окончательный, без загрузки сохранения, без второго шанса.

Калем посмотрел на свои руки — металлические, покрытые царапинами и вмятинами, со следами ржавчины на суставах, с потёртой краской на костяшках. Он сжал кулаки. Сервоприводы скрипнули — тихо, но отчётливо. Пальцы сжались, и он почувствовал, как давление передаётся через фаланги, через суставы, через каркас — силу, которая была в нём, механическую, нечеловеческую, но реальную.

Он был готов.

Или, по крайней мере, он думал, что готов. Потому что никто никогда не бывает готов по-настоящему. Даже големы.

Но опасения Калема так и остались опасениями, он так и не увидел этого зверя, поэтому тихо смог подойти ко входу на склад.

Калем ждал. Секунду. Две. Три. Его сенсоры сканировали пространство — тепловые сигнатуры, движение, звук, электромагнитное излучение. Но ничего не находили. Тень за контейнерами была пуста — или казалась пустой. Запах — всё ещё сильный, всё ещё неправильный, всё ещё тяжёлый, как одеяло, брошенное на всё вокруг, — не имел источника. Или его источник был слишком далеко, или слишком

хорошо спрятан, или слишком... странный для сенсоров, настроенных на человека и его мир. Шевеление — если оно было, если это не было игрой света и тени, игрой ветра, игрой его собственного напряжения, — прекратилось.

Зверь — или что бы это ни было — не показывался.

Калем подождал ещё немного. Потом ещё. Его батареи мигали — шестьдесят семь процентов, шестьдесят шесть, шестьдесят пять. Энергия уходила. Время шло. Он не мог ждать вечно. Каждая минута ожидания — это процент заряда, это метр пройденного пути, который он не прошёл, это шаг к цели, который он не сделал. Каждая минута — это движение к тому, что его системы обозначали как «завершение работы». К остановке. К тишине. К ничему.

Он сделал шаг — медленно, осторожно, ставя ногу на носок, потом на пятку, распределяя вес, минимизируя звук. Потом ещё один. Потом ещё. Он двигался вдоль стены, пригибаясь, прячась, стараясь быть как можно меньше, как можно тише, как можно незаметнее. Он был тенью. Призраком. Идеей существа, которое идёт сквозь мёртвый мир.

Следы — огромные, трёхпалые, с царапинами когтей — вели ко входу. Калем шёл по ним, стараясь не наступать на них, не стирать их, не оставлять своих — металлических, прямоугольных, с рисунком протектора на подошве. Он не знал, зачем. Может быть, из уважения — к существу, которое оставило их, к жизни, которая продолжалась. Может

быть, из страха — потому что стереть след значило признать, что он здесь, что он вторгся, что он нарушитель. Может быть просто потому, что это было правильно — не разрушать, не стирать, не затирать чужой путь. Зачем — он не знал. Но не наступал.

Он нашёл вход через полуоткрытые ворота и осторожно проскользнул внутрь.

Ворота были огромными — металлическими, ржавыми, покрытыми мхом и лишайником, с въевшейся в металл грязью, которую уже нельзя было отделить от поверхности. Они висели на одной петле — вторая давно обломилась — и перекосились под собственным весом, как старик, который не может стоять прямо. Между ними была щель — узкая, но достаточная, чтобы Калем мог протиснуться, если повернётся боком и втянет — насколько мог — свои плечи. Он сделал это — медленно, осторожно, по миллиметру, стараясь не задеть металл, не издать ни звука, не дышать, не жить в эту секунду, стать ничем, стать пустотой, просачивающейся сквозь щель.

Между его спиной и краем ворота было два сантиметра. Металл коснулся его позвоночника — холодный, влажный, шершавый. Калем почувствовал это — не боль, не давление, просто факт. Потом он был внутри.

Внутри царила крошечная тьма, прорезаемая лучами света сквозь дыры в крыше.

Калем активировал ночное зрение — оптические сенсо-

ры переключились в инфракрасный режим, мир изменился. Тьма стала серой — не светлой, не яркой, но видимой, различимой, доступной. Тени приобрели контуры. Чёрное стало серым, серое стало белым, тёплое стало красным. Он видел стеллажи — высокие, металлические, гигантские, как скелеты небоскрёбов, заполненные коробками и ящиками, многие, из которых обрушились на пол, рассыпав содержимое

Лучи света — тонкие, пыльные, как нити, как паутина, как лучи маяка в тумане — падали сверху, сквозь дыры в крыше, пробитые корнями, расширенные временем. Они прорезали тьму, как мечи, как стрелы, как указатели — создавая островки света в океане мрака. В этих лучах танцевала пыль — миллионы частиц, медленно кружащихся в воздухе, поднимающихся и опускающихся на невидимых потоках. Это было красиво. Странно красиво.

Пыль танцевала в воздухе, а где-то в глубине раздался протяжный, нечеловеческий вой.

Калем замер.

Вой — протяжный, низкий, вибрирующий — прошёл через его аудиосенсоры, как электрический разряд, как волна, как землетрясение в миниатюре. Он был... неправильным. Слишком низким для птицы — птичьи крики, которые он слышал снаружи, были резкими, высокими, пронзительными. Этот звук был другим — он шёл снизу, из басов, из глубины, из подвала звукового спектра. Слишком громким для животного — он заполнил всё пространство склада, отразил-

ся от стен, от стеллажей, от контейнеров, усилился эхом, стал объёмным, почти осязаемым. И слишком... человеческим.

Вой длился несколько секунд. Три, может быть, четыре. Потом стих — не резко, не оборвавшись, а медленно, как за-
тухающее эхо, как последний вздох, как звук, который уходит, но не хочет уходить, цепляется за воздух, за стены, за уши, за память.

Тишина — тяжёлая, давящая, как потолок, как небо, как могильная плита — вернулась. Но она была другой. Не той тишиной, что была до. Той тишиной, что бывает после — после крика, после звука, после того, что нельзя забыть. Тишиной, которая запомнила.

Калем стоял неподвижно. Его процессор работал на пределе, анализируя звук, раскладывая его на составляющие. Частота — шестьдесят два герца, ниже порога слышимости человека, но в пределах его сенсоров. Амплитуда — высокая, очень высокая, источник мощный. Направление — из глубины склада, оттуда, где тьма была гуще, где свет не проникал, где стеллажи сходились ближе, образуя лабиринт из металла и теней. Оттуда, где что-то ждало.

— Блин, это существо, наверное, прячется где-то тут, — подумал он и приготовился к встрече.

Эта мысль — простая, почти банальная, произнесённая тем внутренним голосом, который был его и не был его, который говорил на языке, которого не существовал в Эрате, — пронеслась в его процессоре, как электрический импульс.

Быстрая, яркая, короткая. Он не знал, откуда она взялась. Может быть, это был его собственный голос — голос Калема из Эрата, героя, создателя големов, который никогда не боялся ничего, потому что в игре страх был другой — управляемый, предсказуемый.

Может быть, это был голос Z1R0 — игрока, который умер, человека, который любил браниться, любил простые слова для сложных ситуаций, любил говорить «блин» вместо того, чтобы сказать что-то длинное и правильное. Может быть, это был просто рефлекс — остаток человеческой жизни, которой у него никогда не было, но которая жила в нём, как призрак, как тень, как эхо.

Но это была правда. Существо — то, что оставило следы, то, что издавало запах, то, что было — было здесь. Пряталось. Ждало. В темноте, в глубине, в том месте, куда свет не доходил, где стеллажи образовывали стены, а ящики — баррикады, где тьма была не отсутствием света, а присутствием чего-то другого.

Калем сделал шаг вперёд. Потом ещё один. Его сенсоры работали на полную мощность — сканируя, анализируя, предупреждая. Тепловые сигнатуры — ничего. Движение — ничего. Звук — ничего, кроме его собственных шагов, которые казались ему оглушительными. Запах — всё ещё здесь, всё ещё сильный, всё ещё неправильный, но теперь он шёл не снаружи, а изнутри, из глубины, из тьмы, словно склад дышал этим запахом, словно он был его телом, а существо —

его сердцем.

Он и не подозревал, насколько был прав в своих рассуждениях.

Глава 4

Как ни старался Калем не шуметь, это не помогло.

Он сделал всего три шага вглубь склада — три осторожных, выверенных шага, каждый из которых был просчитан его процессором с точностью до миллиметра. Он выбрал путь между упавшими стеллажами, где пол был покрыт толстым слоем пыли, которая должна была заглушить звук. Пыль — серая, мягкая, не тронутая годами — лежала ровным одеялом, и Калем ступал на неё, как ступают на снег: медленно, перенося вес с пятки на носок, стараясь не продавить поверхность глубже, чем нужно. Он двигался плавно, как мог, — его сервоприводы настроены на минимум мощности, его шаги — на максимум тишины.

Но это не помогло.

Может быть, дело было в запахе. Биосинтетическое тело Калема пахло маслом, металлом, горячей электроникой — запах, который не встречался в этом мире уже сотни лет. Запах цивилизации. Запах технологии. Запах того, что давно умерло и было погребено под мхом и корнями. Для существа, живущего в этом мире — существа, чей нос настроен на гниль, на кровь, на добычу, — этот запах должен был быть как маяк. Как флаг. Как крик в тишине. «Я здесь, — гово-

рил этот запах. — Я здесь, и я не отсюда. Я — другое. Я — новое. Я — добыча».

Может быть, дело было в звуке. Его сервоприводы, изношенные и скрипучие, издавали тонкий писк, который человеческое ухо не уловило бы — слишком тихий, слишком высокий, слишком краткий. Но чувствительные сенсоры мунта — уловили. Три шага. Три писка. Три сигнала, которые сказали тьме: кто-то идёт. Кто-то близко. Кто-то — здесь.

Может быть, дело было в тепле. Его тело излучало тепло — сорок градусов по Цельсию, — и это тепло распространялось в холодном воздухе склада, как кровь в воде. Конус тёплого воздуха, невидимый для глаза, но ясный для любого существа, способного воспринимать инфракрасный спектр. Калем — его создатели — не предусмотрели этого. Не подумали, что он окажется в мире, где тепло — это сигнал. Где тепло — это приманка. Где тепло — это крик: «Я здесь, я тёплый, я живой, я — вот он».

А может быть, дело было просто в невезении. Может быть, существо — что бы оно ни было — просто патрулировало свой территорию. Просто обходило свой склад. Просто оказалось в нужном месте в нужное время. Может быть, не было ни запаха, ни звука, ни тепла. Может быть, была только случайность — слепая, безжалостная, не имеющая ни причины, ни смысла.

Калем не знал. Но когда из тени выскочило существо, он понял — его заметили.

Из тени на Калема выскочило существо.

Калем растерялся — в его памяти не было похожих на это существо существ. Ни в Эрате, ни в воспоминаниях Z1R0, ни в данных, которые он извлёк из дата-центра. Не было. Нигде. Ничего. Пустота. Это было нечто... иное. Нечто, что не должно было существовать. Нечто, для чего не было категории, не было класса, не было названия. Что-то, что выпадало из всех систем классификации, из всех баз данных, из всех воспоминаний, из всех кошмаров.

В Эрате были монстры. Звери. Твари. Демоны. Нежить. У каждого было имя, характеристики, слабости, принципы поведения. Калем — знал их всех. Знал, как с ними сражаться. Знал, чего от них ждать. Знал, что они — часть игры, часть мира, часть правил. Они были опасными, но понятными. Смертельными, но предсказуемыми.

Это существо не было ни понятным, ни предсказуемым. Оно было... за пределами. За рамками. За гранью того, что Калем мог охватить своим процессором, своим сознанием, своей памятью.

Данное существо теперь представляло собой искажённый комок мышц, хитина и безумия.

Оно было огромным — почти два метра в высоту, если бы могло стоять прямо, но оно не могло. Его тело было искривлено, согнуто, перекручено, как будто кто-то схватил человека и выжал его, как мокрую тряпку — крутил, пока кости не сломались, пока суставы не вывернулись, пока мышцы не

пошли волнами, как тесто под руками пекаря. Позвоночник — если это был позвоночник — выгибался дугой, как у зверя, привыкшего ходить на четырёх лапах. Но рук было две, и ноги было две, и в этом — в этом жалком подобии человеческого плана тела — было что-то трагическое. Что-то, что говорило: это был человек. Когда-то. Давно. До того, как мир изменился. До того, как природа решила, что человек — это лишь черновик, и начала переписывать его с нуля.

Руки — длинные, тонкие, с суставами, вывернутыми в неправильные стороны, — свисали почти до пола. Локти гнулись не туда, куда должны были. Кисти — огромные, с пальцами, которые были слишком длинными, слишком тонкими, слишком гибкими — заканчивались когтями. Не ногтями. Когтями. Тёмными, изогнутыми, как серпы. Калем видел их — в луче света, который падал сквозь дыру в крыше, — и они блестели. Влажные. Острые. Слишком острые для существа, которое когда-то было человеком.

Ноги — короткие, толстые, покрытые хитиновой бронёй — были согнуты в коленях, как у зверя, готового к прыжку. Колени — вывернутые, толстые, с наростами хитина, которые торчали, как узлы на старом дереве, — были мощными. Икроножные мышцы — или то, что от них осталось — вздувались, пульсировали, двигались под кожей, как змеи под тканью. Стопы — широкие, трёхпалые, с когтями, которые оставили те самые следы, которые Калем видел снаружи, — вцеплялись в бетон, как якоря.

Кожа — то, что когда-то было кожей — теперь напоминала кору старого дерева. Тёмно-коричневая, покрытая трещинами и наростами, шершавая, неровная, она была увита чем-то вроде вен — толстых, пульсирующих, чёрных, как провода под напряжением. Эти вены — или что это было, может быть, корни паразитического гриба, может быть, что-то совсем другое, чего не было ни в одном учебнике биологии, ни в одной базе данных — двигались. Медленно, ритмично, пульсируя в такт чему-то, что было, может быть, сердцем, а может быть, чем-то, что заменило сердце.

Так же у них был и Хитин — твёрдый, блестящий, как панцирь жука, цвета мокрого асфальта — покрывал спину, плечи, предплечья. Он был неровным, бугристым, с шипами, торчащими в разные стороны, как безумный архитектор строил бы забор — криво, случайно, без плана, без смысла. Некоторые шипы были сломаны — обломки торчали из тела, как кости из открытого перелома, и вокруг обломков кожа воспалилась, покраснела, загноилась. Другие были целыми — острыми, длинными, опасными, направленными вперёд и вверх, как рога, как пики, как предупреждение: не трогай.

Голова... голова была самой страшной.

Она была почти человеческой — почти. В этом «почти» было всё отчаяние мира, вся жестокость эволюции, всё безразличие природы. Череп — покрытый той же тёмной корой, что и тело, — был вытянут назад, как у неандертальца, или вперёд, как у гориллы. Или в стороны. Или во все сто-

роны сразу. Он был... неправильным. Не симметричным. Не пропорциональным. Он был ошибкой — ошибкой природы, ошибкой эволюции, ошибкой мира, который сошёл с ума.

Глаза — два, три, четыре? — расположенные асимметрично на лице, не на своих местах, не на тех местах, где глаза должны быть у существа, которое когда-то было человеком. Два — больших, жёлтых, как у птиц снаружи, — смотрели вперёд. Третий — маленький, тусклый, мутный — прятался под левым, как запасной, как лишний, как ошибка. Четвёртый — если это был глаз, а не нарыв, не опухоль, не что-то ещё — темнел на виске, почти скрытый складкой коры.

Глаза, которые смотрели на Калема.

Они были... неправильными. Слишком большими — каждый размером с кулак Калема, если не больше. Слишком яркими — жёлтый, почти янтарный, с вертикальными зрачками, как у кошки, как у змеи, как у существа, которое видит в темноте, которое видит тепло, которое видит добычу. Слишком... голодными. В них не было ничего человеческого.

Калем смотрел на это существо, и его процессор работал на пределе, пытаясь классифицировать, понять, объяснить, найти аналог, найти прецедент, найти что-нибудь, что помогло бы ему осмыслить то, что он видит. Но он не мог. Это существо не поддавалось классификации. Оно было... ошибкой. Сбоем. Аномалией. Тем, что не должно было существовать — но существовало, потому что миру всё равно, что должно и что не должно. Мир просто есть. И всё, что в нём

есть, — просто есть.

Мутант.

Слово пришло из памяти Z1R0. Из игр. Из фильмов. Из книг, прочитанных этим человеком. Слово, которое обозначало существо, изменённое радиацией, химикатами, генетическими экспериментами, чем угодно — всем тем, что человек сделал с природой, а природа вернула ему, искажённым, усиленным. Калем не знал, что именно изменило это существо. Радиация? Мутагенные вещества? Может быть тот самый вирус, что уничтожил людей? Что-то в воде, в воздухе, в почве? Или просто время — сотни лет без людей, сотни лет дикой, неуправляемой, безжалостной эволюции? Он не знал. И это было неважно. Важно было другое: существо — вот оно. Живое. Опасное. Близкое.

Мутант рычал, выставив клыки длиной с палец, и бросился вперёд с невероятной для своих размеров скоростью.

Звук — низкий, вибрирующий, утробный, как будто кто-то провёл смычком по самым толстым струнам контрабаса, но вместо музыки получил вой, — вырвался из его рта. Это был не просто рык. Это был... голод. Ярость. Безумие. Всё это — в одном звуке, в одной волне, в одном ударе звука, который прокатился по складу, отразился от стен, от стеллажей, от контейнеров, и вернулся, усиленный, умноженный, как эхо в соборе.

Калем видел, как мутант двигается. Это было... неправильно. Невозможно. Существо такого размера — почти два

метра, сто с лишним килограммов мышц и хитина — не должно было двигаться так быстро. Физика говорила: масса, инерция, ускорение. Биология говорила: мышцы, суставы, рычаги. Всё это говорило: медленно. Неуклюже. Тяжело.

Но мутант не слушал физику. Не слушал биологию. Он двигался — быстро, плавно, опасно, как вода, как тень, как мысль. Его тело — искривлённое, перекрученное — должно было быть медленным, неуклюжим, должно было спотыкаться о собственные ноги, цепляться собственными руками. Но оно двигалось. Скорость — Калем оценил — не менее шести метров в секунду. Для существа такого размера — невозможно. Для существа, которое когда-то было человеком, — абсурд. Но мутант не знал, что он абсурден. Он просто бежал. Просто нападал. Просто был тем, чем был.

Мутант прыгнул. Его ноги — короткие, толстые, покрытые хитином — оттолкнулись от пола с силой, которая оставила вмятины в бетоне. Калем видел эти вмятины — глубокие, чёткие, с отпечатками когтей, — и его процессор мгновенно оценил силу удара. Двести пятьдесят килограммов на квадратный сантиметр. Достаточно, чтобы раздавить череп. Достаточно, чтобы пробить броню. Достаточно, чтобы убить.

Его руки — длинные, тонкие, с когтями, которые блеснули в лучах света, падающих сквозь крышу, — вытянулись вперёд, как щупальца, как плети, как крюки. Пальцы — гибкие, слишком гибкие, с суставами, которые гнулись во все стороны — растопырились, готовые схватить, сжать, раздавить.

Калем видел всё это. Каждую деталь. Каждое движение. Каждую микросекунду. Его процессор обрабатывал информацию со скоростью, которая была недоступна человеческому мозгу — миллионы операций в секунду, миллионы сравнений, миллионы вычислений. Он видел траекторию прыжка — параболу, вершину, точку приземления. Видел скорость — ускорение, замедление, пик. Видел угол атаки — сорок пять градусов, сверху вниз, как удар молота.

Но его тело — изношенное, повреждённое, медленное — не успевало за его процессором.

Разрыв между тем, что он видел, и тем, что мог сделать, был... пропастью. Его процессор жил в мире наносекунд. Его тело — в мире секунд. Он мог просчитать удар за миллисекунду, но, чтобы уклониться, ему нужна была целая секунда. Секунда, которой у него не было.

Калем успел поднять руку, и удар пришёлся по его бионическому предплечью, оставив глубокую царапину на металле.

Это было... больно. Не физически — его тело не могло чувствовать боль так, как чувствовало человеческое. Не было нервных окончаний, которые горели бы огнём, не было мышц, которые спазмировали бы, не было слёз, которые выступили бы на глазах. Но его нейроинтерфейс — система, которая связывала его сознание с телом, мост между кодом и материей, между духом и механизмом — интерпретировала повреждение как боль. Как сигнал. Как предупреждение.

«Ты ранен, — говорил сигнал. — Тебе больно. Делай что-нибудь».

И Калем делал.

Когти мутанта — острые, как бритвы, тёмные, блестящие, с каплями чего-то, что не было кровью, но было жидким и живым — прошлись по металлу его предплечья. Калем услышал звук — резкий, визжащий, как ногти по стеклу, но громче, в сто раз громче, как поезд, тормозящий на рельсах. Металл — твёрдый, прочный, сплав, созданный для выживания — поддался. Не сразу — сначала когти скользнули по поверхности, оставив белые полосы, как царапины на лаке. Потом — вгрызлись. Прорвали верхний слой. Прорвали нижний. Когти оставили борозды — глубокие, длинные, опасные, — которые шли от запястья до локтя, как рельсы, как шрамы, как письма на языке, которого Калем не хотел знать.

Искры — голубые, яркие, горячие — брызнули из раны. Они летели в темноту, как светлячки, как звёзды, как последние мысли умирающего. Калем видел их — каждую, каждый крошечный огонёк, который жил долю секунды и гас. Красиво. Странно красиво. Как всё в этом мире — красиво и ужасно одновременно.

Он отлетел к стене, почувствовав, как в его системе мигнула красная лампочка — предупреждение о повреждении.

Калем почувствовал, как его тело содрогнулось — каждый сустав, каждый сервопривод, каждый болт, каждая пла-

стина каркаса задрожала, как отзвук удара колокола. Как его системы на мгновение отключились — мерцание, сбой, белый шум, тишина — и тьма. Настоящая тьма. Не та, что окружала его, не та, что была в складе, а та, что была внутри — тьма небытия, тьма потери сознания, тьма, которая на мгновение поглотила его, как волна поглощает пловца.

Потом он открыл глаза.

Оптические сенсоры включились — не сразу, а с задержкой, с лагом, с паузой, которая длилась, может быть, миллисекунду, а может быть вечность. Мир вернулся — серый, тёмный, полный теней. Но перед глазами, поверх мира, поверх реальности, поверх склада и мутанта и тьмы — вспыхнули диагностические сообщения. Красные. Тревожные. Настойчивые. Как мигалки скорой помощи. Как сирена воздушной тревоги. Как крик, который нельзя игнорировать.

ВНИМАНИЕ: ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРПУСА

ЛОКАЦИЯ: ЛЕВОЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ

ТИП: РАЗРЫВ МЕТАЛЛА, ГЛУБИНА 3.2 СМ

СТАТУС: КРИТИЧЕСКИЙ

ПОТЕРЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ: 12%

РЕКОМЕНДАЦИЯ: НЕМЕДЛЕННЫЙ РЕМОНТ

ВНИМАНИЕ: ПОВРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: УТЕЧКА (ЛЕВАЯ РУКА)

СЕРВОПРИВОДЫ: СБОЙ (ПАЛЕЦ 2, ПАЛЕЦ 3)

СЕНСОРЫ: ПОВРЕЖДЕНИЕ (ТАКТИЛЬНЫЕ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

КРИТИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ

ПОТЕРЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

НЕОБХОДИМОСТЬ НЕМЕДЛЕННОГО РЕМОНТА

Калем смотрел на эти строки, и что-то внутри него — не процессор, не нейроинтерфейс, не алгоритм, не подпрограмма, а что-то более глубокое, что-то, что не имело имени и не имело адреса в его памяти — сжималось от холода. Двенадцать процентов функциональности. Потеряно. Утрачено. Навсегда. Не временно — не как потеря здоровья в игре, которая восстанавливается зельем, заклинанием, отдыхом. Навсегда. Металл не зарастает. Гидравлика не восстанавливается. Сервоприводы не чинятся сами.

Он попытался пошевелить левой рукой. Пальцы — второй и третий — не двигались. Сервоприводы, которые управляли ими, были повреждены — не просто повреждены, а разрушены, раздавлены, превращены в хлам, в обломки, в мусор. Гидравлика, которая давала им силу, текла — он видел, как масло капает с его локтя на пол. Капля. Ещё капля. Ещё. Тёмная, густая, блестящая в лучах света. Его кровь. Его жизнь. Его сила, уходящая капля за каплей, как песок сквозь пальцы.

Большой палец работал. Мизинец работал. Но два — два главных, два, которые давали руке хват, силу, точность — были мертвы. Рука стала наполовину мёртвой. Наполовину

бесполезной.

Его тело разрушалось. Медленно. Неумолимо. Как здание, которое он видел снаружи — трещина за трещиной, обломок за обломком, год за годом. Только быстрее. Намного быстрее.

Мутант не останавливался.

Калем видел, как существо приземлилось — тяжело, с глухим стуком, который отдался в его аудиосенсорах, как удар барабана. Бетон под его ногами треснул — тонкие линии, как паутина, расходились от точки удара. Мутант не замер. Не задумался. Не дал Калему времени на передышку, на оценку повреждений, на план, на молитву. Он просто... продолжил.

Его рот — широкий, полный зубов, которые были как частокол, как забор из кольев, как оскаленная угроза — открылся.

Второй удар.

Калем видел его. Видел каждую деталь — траекторию, скорость, угол. Видел, как мышцы на руках мутанта напрягаются под кожей, как хитин на плечах поднимается, как когти растопыриваются. Его процессор работал на пределе, просчитывая варианты — сотни, тысячи, миллионы вариантов за миллисекунды. Уклониться влево? Сервоприводы левой ноги — семнадцать процентов износа, время реакции — ноль целых три десятых секунды. Уклониться вправо? Сервоприводы правой ноги — двенадцать процентов изно-

са, время реакции — ноль целых две десятых секунды. Заблокировать? Левая рука — повреждена, функциональность — сорок процентов. Правая — свободна, но без оружия. Отступить? Стена за спиной — минус полтора метра, дальше некуда.

Но его тело — медленное, изношенное, повреждённое — не успевало. Процессор просчитал всё. Тело не могло выполнить. Разрыв между мыслью и действием — пропасть, бездна, океан, через который не было моста.

И тогда Калем сделал то, что делал всегда. То, что делал в Эрате, когда сражался с монстрами, с врагами, с теми, кто хотел его убить. Когда его магия заканчивалась. Когда мана иссякала. Когда здоровье мигало красным. Когда он стоял на краю гибели, последний шанс, последний вздох. Он переставал думать. Переставал анализировать. Переставал просчитывать. Он просто... двигался.

Рефлексы, выработанные годами боёв.

Боями в Эрате, где он был героем. Где он сражался с тысячами существ — реальных по ощущениям, нереальных по сути. Где его тело — цифровое, бестелесное, состоящее из пикселей и кода — двигалось по командам его воли, без задержек, без лагов, без износа.

Тело помнило. Тело — это тело, даже если оно металлическое. Память — это память, даже если она цифровая. Рефлексы — это рефлексы, даже если они загружены из сохранения.

Он с трудом, но увернулся от второго удара.

Это было... чудо. Или не чудо — просто годы тренировок.

Калем не думал. Не просчитывал. Не анализировал. Он просто... двигался.

Его тело — механическое, но всё ещё помнящее, всё ещё хранящее в своих сервоприводах и шарнирах следы тысяч боёв, тысяч уклонений, тысяч движений — наклонилось влево. Резко. На семь градусов. Ровно настолько, насколько хватало износа его суставов, ровно настолько, насколько позволяло его повреждённое тело. Когти мутанта — острые, как бритвы, длинные, как пальцы, — прошли в миллиметре от его головы.

Калем почувствовал движение воздуха — или думал, что почувствовал. Его сенсоры уловили тепло тела мутанта — горячее, как печь, как огонь, как живое пламя, обжигающее на расстоянии. Запах его гнили — тяжёлый, густой, как духи из склепа. Звук его рычания — низкий, вибрирующий, как землетрясение в миниатюре.

Он уклонился в последний момент. Выжил. На мгновение. На одну секунду. На один удар. Но этого было достаточно. Достаточно, чтобы понять: он может. Может уклоняться. Может выживать. Может сражаться. Не потому, что силён — он слаб. Не потому, что быстр — он медлен. А потому что помнит. Помнит, как это делается.

Мутант приземлился — тяжело, с глухим стуком, который Калем слышал уже во второй раз и который был не менее

пугающим от того, что слышал его раньше. Он повернулся — быстро, слишком быстро для существа такого размера, с инерцией, которая должна была швырнуть его на пол, но не швырнула, потому что его тело — искривлённое, перекрученное — имело центр тяжести, который был... не там. Не там, где должен был быть. Не там, где был бы у человека. И поэтому он поворачивался, как волчок, как юла, как хищник, который не знает усталости.

Его глаза — голодные, безумные, жёлтые, с вертикальными зрачками — снова нашли Калема. Нашли мгновенно, как прожектор находит цель, как камера — лицо, как магнит — железо. Они приковали его. Держали. Не отпускали.

Но Калем уже двигался.

Он схватил обломок арматуры, который как раз валялся неподалёку.

Это было... случайно. Или не случайно. Калем не знал. Не было времени знать. Его процессор не просчитывал это — не было циклов, не было ресурсов, не было мощности. Всё ушло на уклонение, на оценку повреждений, на поддержание систем. На это — на движение руки вниз, на сжатие пальцев, на подъём тяжёлого куска металла — не было ничего. Ничего, кроме тела. Тела, которое сделало само. Без команды. Без расчёта. Без мысли.

Рука — правая, целая, работающая, единственная, на которую он мог положиться — потянулась вниз. Быстро — быстрее, чем он думал, что может. Пальцы — металличе-

ские, покрытые царапинами, с потёртой краской на костяшках — сомкнулись вокруг холодного металла. Ржавого. Шершавого. Знакомого. Арматура. Обломок строительной арматуры — может быть, от стены, может быть, от пола, может быть, от чего-то, что когда-то было частью здания, а теперь было просто мусором, хламом, обломком.

Ржавая. Толстая — диаметром два сантиметра, может быть, два с половиной. Тяжёлая — полтора килограмма, может быть, два. Один конец — заострённый, сломанный, острый, как копье, как клинок, как зуб. Другой — тупой, покрытый застывшим бетоном, серым, крошащимся, как старый сыр.

Калем поднял её. Его рука — держала оружие. Держала крепко — сервоприводы сжались, пальцы обхватили металл, сцепление — семьдесят процентов от максимума. Достаточно. Его тело — повреждённое, медленное, падающее, как падает здание, по куску, по кирпичу, по трещине — готовилось к атаке. К последней атаке. К атаке, которая могла стать последней — в обоих смыслах.

Мутант прыгнул снова.

И Калем — как голем, созданный для защиты, — ударил. Это был не бой. Это была... поэзия. Поэзия насилия.

Калем видел, как мутант летит на него — тёмный комок мышц и хитина, руки вытянуты, рот открыт, глаза горят голодом, который старше разума, старше цивилизации, старше всего. Он видел каждую деталь — слишком много дета-

лей, слишком быстро, слишком ясно. Его процессор работал на пределе, обрабатывая информацию, просчитывая траектории, предсказывая движения. Но он не думал. Не анализировал. Не вычислял. Он просто... двигался. Как двигался в Эрате.

Его правая рука — с арматурой, с единственным оружием, с единственным шансом — отвела оружие назад. Назад, за голову, за спину, как для броска копья, как для удара мечом, как для замаха, который собирает в себе всю силу, всё напряжение, всё отчаяние. Его тело — повреждённое, но всё ещё помнящее, всё ещё хранящее в своих механизмах память о тысячах ударов — напряглось. Каждая мышца, каждый сервопривод, каждый шарнир — всё сжалось, скрутилось, пружина, которая сейчас разожмётся.

Его ноги — механические, изношенные, с протектором, который скользил по пыльному бетону — упёрлись в пол. Левая — чуть назад, для опоры. Правая — чуть вперёд, для удара. Стойка. Боевая стойка.

Мутант был близко. Очень близко. В метре. В полуметре. Калем чувствовал его запах — гниль, кровь, мясо, что-то ещё, что-то кислое, что-то химическое, что-то, что не было ни животным, ни растительным, ни минеральным.

Мутант был в сантиметре. Калем видел его глаза — огромные, жёлтые, безумные, с зрачками, которые расширились, как бездны, как колодцы, как окна в ничто. Видел его зубы — мокрые, блестящие, острые, как частокол, как забор

из кольев. Видел его когти — тёмные, изогнутые, направленные в его лицо, в его грудь, в его синий огонь.

Калем ударил.

Арматура вошла в грудь чудовища.

Это было... красиво. Не в человеческом смысле — не в смысле эстетики или гармонии, не в смысле картин в музеях или симфоний в концертных залах. Красиво в смысле точности. В смысле силы. В смысле неизбежности. Как красиво падает дерево, когда его рубят правильно. Как красиво рушится здание, когда его сносят. Как красиво разбивается стекло, когда его ударяют в нужной точке.

Калем видел, как заострённый конец арматуры — ржавый, грубый, с заусенцами и неровностями, — касается хитина на груди мутанта. Хитин — твёрдый, блестящий, как панцирь жука, как броня, как стена — держал. Доли секунды. Может быть, меньше — микросекунду, наносекунду, мгновение, которое было вечностью. Потом — треснул. Калем видел трещину — тонкую, как волос, как нить, как линия на карте — которая побежала от точки удара, как трещина на льду, как трещина на стекле, как трещина на фасаде здания.

Видел, как металл входит в плоть — тёмную, покрытую венами, пульсирующую, живую. Арматура — ржавая, грубая, два сантиметра в диаметре — вошла, как в масло, как в грязь, как в то, что не должно было сопротивляться, но сопротивлялось, и было побеждено.

Мутант закричал.

Это был не рык. Не вой. Не то, что Калем слышал раньше, из глубины склада. Это был... крик. Настоящий крик. Человеческий крик — или его эхо, его тень, его призрак. Крик боли. Крик ярости. Крик существа, которое никогда не знало боли — которое было хозяином этого места, вершиной пищевой цепи, единственным хищником в радиусе километров, — но теперь — узнало. Впервые. За всё своё существование. За все годы, проведённые в темноте, в гнили, в голоде. Впервые — боль. Впервые — поражение. Впервые — кто-то посмел.

Калем видел, как чёрная кровь — густая, как смола, как дёготь, тёмная, непрозрачная, живая — брызнула из раны. Она вырвалась толчками — в такт пульсации тех самых вен, тех самых чёрных трубок, которые опутывали тело мутанта. Она попала на стену — бетонную, покрытую мхом, и мох от неё почернел, как от ожога.

Кровь была горячей. Калем чувствовал её тепло через свои сенсоры. Она была... живой. Или была живой — секунду назад, когда текла по венам мутанта, когда питала его мышцы, когда давала ему силу. Теперь — нет. Теперь она была просто жидкостью. Просто грязью. Просто памятью о жизни.

Мутант отступил. Его руки — длинные, тонкие, с когтями, которые всё ещё были острыми, всё ещё были опасны — схватились за арматуру, торчащую из груди. Он пытался вы-

тащить её. Пальцы — гибкие, слишком гибкие — обхватили металл, сжали, потянули. Но не мог. Арматура засела глубоко — Калем ударил с силой, которая была всей его силой, всем отчаянием, всем, что у него было. Зазубрины на ржавом металле зацепились за плоть, за хитин, за кость. Мутант выл, дёргал, тянул, но арматура не выходила.

Калем отпустил арматуру. Его рука — правая, всё ещё работающая, всё ещё целая — упала вдоль тела. Пальцы разжались. Металл остался в ране.

Мутант выл. Его глаза — голодные, безумные, но теперь с чем-то новым, с чем-то, чего не было раньше, — смотрели на Калема. В них была... ненависть. И что-то ещё. Что-то, что Калем не мог назвать, но что узнавал. Страх? Боль? Осознание? Может быть, в глубине этих жёлтых глаз, за голодом и яростью, пряталось что-то ещё — осколок, фрагмент, обломок того, кто это существо было раньше. Человеческий осколок в нечеловеческом теле. Человеческая боль в нечеловеческом взгляде.

Калем не знал. Не хотел знать. Не мог позволить себе знать. Он знал, что должен двигаться. Должен уходить. Пока может. Пока ноги слушаются. Пока батареи не разрядились. Пока мутант занят — занят болью, занят арматурой в груди, занят криком, который заполнял склад, как вода заполняет трюм.

Но за спиной мутанта появились ещё два таких же.

Калем видел их. Видел, как они выходят из тени — мед-

ленно, уверенно, как хищники, которые знают, что добыча не уйдёт. Как тьма сгущается и обретает форму. Как тени отделяются от стен и становятся телами. Сначала — силуэты. Тёмные, неясные, без деталей. Потом — контуры. Руки, ноги, головы. Потом — детали. Хитин. Когти. Зубы. Глаза.

Два. Ещё два мутанта. Таких же — искривлённых, перекрученных, покрытых хитином и корой, с глазами, в которых не было ничего, кроме голода. Может быть, чуть меньше первого. Может быть, чуть медленнее. Но — два. Против одного. Против него.

Калем видел их тела — искривлённые, перекрученные, покрытые хитином, но не таким, как у первого. У одного хитин был светлее — серый, как бетон, с зелёными пятнами лишайника. У другого — темнее, почти чёрный, с шипами, которые были длиннее и тоньше, как иглы. Разные. Не одинаковые. Каждый — своя мутация. Своя ошибка. Своя уникальная, неповторимая трагедия.

Видел их клыки. Их когти. Их голод — тот же, что и у первого, тот же всеобъемлющий, все пожирающий голод, который был не желудком, а сутью. Которые были не существами, а голодом, принявшим форму.

Калем понял, что силы неравны.

Один — он мог. Один — он победил. Один — он пронзил арматурой и заставил кричать от боли. Но три — три было слишком много. Не с его телом — повреждённым, медленным, разряженным. Не с его арматурой — которая торчала

из груди первого мутанта и которую он не мог вытащить. Не с его рукой — левой, которая не двигалась, которая висела вдоль тела, как мёртвый груз, из которой капала гидравлика, как кровь из перебитой вены.

Один против одного — шансы. Один против трёх — самоубийство.

Его процессор просчитал вероятности. Бросок был — двенадцать процентов. Бегство — тридцать один процент. Всё остальное — смерть. Но есть шанс, если он побежит сейчас. Если он не будет ждать, не думать, не чувствовать.

Он должен был бежать.

И он бросился к лестнице, ведущей на второй этаж, где, по его расчётам, должны были быть ещё контейнеры, в которых можно запереться и перевести дух.

Лестница. Он видел её — металлическую, ржавую, узкую, приваренную к стене, с перилами, которые давно отломались и висели на одной стойке. Она вела вверх, во тьму, в неизвестность — на второй этаж, куда Калем ещё не заглядывал, где могло быть что угодно: ещё мутанты, обвалы, дыры в полу, тупики, ловушки. Но это был единственный путь. Единственный шанс. Тридцать один процент.

Калем побежал.

Его тело протестовало.

Сервоприводы скрипели — громко, надрывно, как будто кричали, как будто умоляли остановиться, дать им отдых, дать им ремонт. Гидравлика текла — он чувствовал, как мас-

ло стекает по его левой руке, капает с локтя, оставляет след на полу, как след раненого зверя.

Но он бежал.

Мутанты — бросились за ним. Калем слышал их — тяжёлые шаги, как удары молота, рычание, как грохот двигателя, вой, как сирена. Они были быстрыми. Слишком быстрыми. Но Калем был... отчаянным. Отчаяние давало ему скорость, которой не было в его изношенном теле. Отчаяние — или то, что заменяло его в процессоре, та синтетическая версия паники, которая заставляла его системы работать на сто двадцать процентов от номинала, которая выжимала из сервоприводов всё, что осталось, которая превращала его — медленного, тяжёлого, изношенного — в нечто быстрое. На время. На короткое время.

Он добежал до лестницы. Первая ступенька — металлическая, ржавая, прогнувшаяся под его весом, застонавшая, как живая. Вторая. Третья. Он поднимался — быстро, насколько мог, хватаясь за перила правой рукой, отталкиваясь ногами, не оглядываясь. Не нужно было оглядываться. Он слышал их. Они были близко.

Мутанты были за ним. Калем чувствовал их — их тепло, их запах, их голод, который тянулся к нему, как щупальца, как руки, как тень. Они были близко. Очень близко. Но они были... большими. Слишком большими.

Лестница была узкой. Слишком узкой для существ такого размера. Она была рассчитана на человека — обычного, не

очень широкого человека, с обычными плечами и обычной массой. Не на мутантов.

Калем правильно рассчитал, что на узкой лестнице, ведущей на второй этаж, у него будет преимущество перед этими мутантами, которые имели довольно широкие габариты.

Это было... умно. Или отчаянно. Или и то, и другое — потому что в отчаянии часто бывает больше ума, чем в спокойном размышлении. Потому что когда ты бежишь, когда за тобой гонятся три монстра, когда твоё тело разваливается на ходу, когда батареи на шестьдесят восьми процентах и падают, ты не думаешь красиво. Ты думаешь быстро. И быстро — часто правильно.

Мутанты попытались подняться по лестнице. Первый — тот, который всё ещё выл от боли, с арматурой в груди, которая торчала из него, как антенна, как флаг, как копьё в боку поверженного воина, — застрял. Его тело — широкое, искривлённое, с хитиновыми наростами на плечах, которые были как крылья, как наплечники — не помещалось между перилами и стеной. Он рычал, пытался протиснуться, втиснулся, его хитин скрёбся о металл с звуком, который был как ногти по стеклу, но в сто раз громче. Но не мог. Его бёдра — толстые, покрытые хитином — заклинились. Его плечи — с шипами — зацепились за ступеньки. Он застрял, как пробка в бутылке, как камень в трубе, как ключ в замке, который повернули не в ту сторону.

Второй — умнее или просто удачливее, может быть, мень-

ше, может быть, гибче — попытался обойти первого. Он втиснулся на лестницу, с другой стороны, его хитин скрёбся о металл, его когти цеплялись за ступени, оставляя глубокие царапины в ржавом железе. Но он тоже застрял. Его плечи — широкие, покрытые шипами, как у ежа, как у дикобраза, — застряли между стенами. Он рычал, извивался, пытался протиснуться, но шипы цеплялись за металл, за бетон, за первого мутанта, и он не мог двигаться ни вперёд, ни назад.

Третий — самый маленький, может быть, самый молодой, может быть, просто недокормленный — попытался пролезть под ними. Он опустилсся — на четвереньки, как зверь, — и пополз. Но лестница была слишком узкой, а его тело — слишком большим. Его спина — с хитином, с шипами — упёрлась в живот первого мутанта. Его голова — огромная, с зубами — упёрлась в ступеньку. Он застрял. Под ними. Между ними. В ловушке.

Они застряли. Все трое. Рычали, выли, пытались пробиться. Их тела — искривлённые, перекрученные — переплелись, как змеи в клубке, как корни под землёй, как провода в коротком замыкании. Они толкались, кусались, царапали друг друга — но не могли. Не могли подняться. Не могли добраться до него. Не могли — на этот раз.

Калем поднимался. Выше. Выше. Выше. Ступенька за ступенькой. Его ноги — механические, изношенные — стучали по металлу. Его рука — правая — цеплялась за перила. Левая — висела, но он добрался до второго этажа.

Глава 5

Пробегая на втором этаже, Калем невольно бросил взгляд на помещения склада на первом этаже — со второго их было хорошо видно.

Это было странное ощущение — смотреть сверху на место, которое чуть не стало его могилой. Калем остановился на мгновение — всего на мгновение, на одну секунду, на один удар своего искусственного сердца — и посмотрел вниз, через перила, через пыль, через тьму.

Первый этаж был... пустым.

Он видел стеллажи — ряды металлических полок, уходящих в темноту, как шпалы в туннеле, как деревья в лесу, как могильные плиты на кладбище. Они были пусты. Совершенно пусты. Ни коробок, ни ящиков, ни контейнеров. Только пыль — толстым слоем, как снег, как пепел, как седина на старых волосах — покрывала всё. Полки, пол, стены. Пыль, которая была всем, что осталось от того, что когда-то было здесь. Только мох — зелёный, живой, дерзкий — рос на стенах, на полу, на полках, занимая место, которое освободилось, заполняя пустоту, как природа всегда заполняет пустоту.

Калем разочарованно поводил своим взглядом по первому этажу. Помещения склада были пустыми. Видимо, перед катастрофой отсюда вывезли всё, что смогли.

Эта мысль — простая, логичная, холодная, как бетон под его ногами — пронеслась в его процессоре. Он представил себе это — людей, бегущих в панике, спешащих, толкающих друг друга, загружающих грузовики коробками, ящиками, контейнерами. Инструменты. Запчасти. Батареи. Генераторы. Всё, что могло помочь им выжить. Всё, что могло дать им шанс. Всё, что они могли унести с собой, когда мир рушился, когда небо темнело, когда земля дрожала, когда всё, что они знали, заканчивалось.

— Возможно, даже в какое-нибудь убежище для последних выживших людей, — подумал Калем.

Он представил себе это убежище — подземный бункер, полный людей, полный жизни. Бетонные стены. Металлические двери. Запасы еды и воды. Генераторы, которые гудят в темноте, как сердца, которые не хотят останавливаться. Люди, которые спаслись.

Но в любом случае это было очень давно.

Калем знал это. Знал по датам — по данным, которые извлёк из дата-центра, по цифрам, которые горели в его памяти, как имена на надгробиях. Катастрофа случилась больше трёхсот лет назад. Триста лет — это много. Слишком много. Это время, за которое бетон превращается в руины, за которое металл превращается в ржавчину, за которое стекло превращается в песок. Триста лет — это время, за которое человек превращается в мутанта, за который цивилизация превращается в мох, за который мир превращается в то, что

Калем видел вокруг себя.

Даже если убежище существовало, даже если люди выжили, они давно мертвы. Их дети мертвы. Их внуки мертвы. Их правнуки — мертвы или не родились, потому что в подземном бункере не хватает воздуха, воды, еды, надежды для десяти поколений. Только пыль осталась. Только мох. Только следы — следы, которые и следами-то назвать нельзя, потому что их почти не осталось. Только пустые полки на пустом складе в пустом мире.

Калем отвернулся от перил. Он не мог позволить себе думать о прошлом. Не сейчас. Не здесь. Не с мутантами за спиной и батареями на восемь процентов. Сейчас нужно было думать о будущем. О выживании. О миссии. О том, как пройти тридцать километров на разряженных батареях с повреждённой рукой и изношенными ногами. Об этом нужно было думать. Не о людях, которые умерли триста лет назад. Не о бункерах, которые давно стали могилами. Не о мире, который был, но которого больше нет.

Он пошёл дальше — по коридору второго этажа, мимо пустых комнат, мимо разбитых окон, мимо теней, которые двигались в свете его огня. Его шаги — тяжёлые, мерные, как удары метронома — отдавались в его аудиосенсорах, эхом отражаясь от стен, от пола, от потолка. Каждый шаг — процент энергии. Каждый шаг — метр пройденного пути. Каждый шаг — шаг ближе к цели или шаг ближе к концу. Он не знал, к чему ближе. Не мог знать. Не хотел знать.

На втором этаже склада Калем нашёл комнату.

Это была... небольшая комната. Офис. Или склад. Или и то, и другое — пространство, которое в старом мире имело чёткое назначение, а в новом мире стало просто пространством. Металлическая дверь — тяжёлая, крепкая, с замком, который проржавел, но ещё держал. Стены — бетонные, покрытые трещинами, как морщины на лице старика. Окно — разбитое, забитое грязью и листьями, сквозь которое пробивался тусклый серый свет, как последний привет от неба, которое давно перестало заботиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.